

Л.Ф. Кацис

Карамзин, Белинский и Достоевский в наброске Мандельштама «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”»

Аннотация: В статье анализируется школьное сочинение Осипа Мандельштама «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”», написанное им под руководством В.В. Гиппиуса – специалиста по Н.М. Карамзину. Сравнив программы Тенишевского училища и педагогические взгляды учителя, можно выявить те историко-литературные связи, на основе которых сформировалась оригинальная концепция юного Мандельштама, и не только по отношению к «Борису Годунову» А.С. Пушкина, но и к источникам статьи героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова. Школьник Мандельштам полемизирует с представлениями об историческом Борисе Годунове и герое драмы Пушкина, выраженными в сочинениях Н.М. Карамзина и статьях В.Г. Белинского. Выясняется, что поводом к полемике с великими критиками было вступление к публикации Пушкинской речи Достоевского в «Дневнике писателя», а некоторые пассажи в тексте героя «Преступления и наказания» восходят к сочинениям Карамзина о Наполеоне, которого Н.М. Карамзин до определенного момента считал гением, игнорирующим моральные границы.

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, «Борис Годунов», А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, «Преступление и наказание», В.В. Гиппиус, Осип Мандельштам, Тенишевское училище

Abstract: The article deals with a school work of Osip Mandelstam “Crime and Punishment in ‘Boris Godunov’ ” written during his studying under the supervision of the famous specialist in N.M. Karamzin – V.V. Gippius. Comparing the Tenishev school programmes and pedagogical views of the teacher one reveals the historical and literary connections, on the basis of which the original concept of the young Mandelstam was formed not only in relation to “Boris Godunov” of A.S. Pushkin, but also to the article of Rodion Raskolnikov, the hero of “Crime and Punishment”. It turns out that the reason for the controversy with the great critics was the Introduction to the publication of Pushkin speech by Dostoevsky in “The Diary of the Writer”. Also some discourses of the hero of “Crime and Punishment” go back to the view of Karamzin at Napoleon as a genius, who ignores moral laws.

Key words: N.M. Karamzin, “Boris Godunov”, A.S. Pushkin, V.G. Belinsky, “Crime and Punishment”, V.V. Gippius, Osip Mandelstam, the Tenishev school

В подготовленной А.Г. Мецом «Летописи жизни и творчества» Мандельштама имя Карамзина фигурирует лишь однажды в цитате из «Листков из дневника» Ахматовой:

Была я у Мандельштамов и летом в Китайской деревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для Осипа Эмилиевича нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский, и Карамзин [Мец 2014: 309].

Запись эта относится к 1926 г. О более ранних свидетельствах интереса Мандельштама к Карамзину речь не заходит. Между тем тенишевские тексты Мандельштама, один из которых мы намерены здесь обсудить, вопреки распространенному мнению представляют совсем немалый интерес для поиска генезиса очень многих образов и идей позднейшего мандельштамовского творчества [Кацис 2011: 664–669; Кацис 2002: 45–55; Фролов 2009].

Текст, который мы будем анализировать, входит в четырехтомник Мандельштама, подготовленный П.М. Нерлером, но не входит в Полное собрание сочинений Мандельштама под редакцией А.Г. Меца, к специальным трудам которого о Тенишевском училище нам еще придется обратиться. По всей вероятности, составитель первого издания и первоиздатель «Преступления и наказания в “Борисе Годунове”» П.М. Нерлер счел этот текст оригинальным мандельштамовским произведением, а А.Г. Мец – нет.

Интересующий нас текст содержится в источнике следующего состава:

В семейном архиве Синани сохранилась тетрадь с конспектами Мандельштама по истории русской литературы (ныне передана в РНБ). Эти конспекты легко датировать, сличая с программой: они соответствуют курсу 7-го и первой половины 8 класса, т. е. писались со второй половины 1905 г. Тетрадь включает конспекты: «Сентиментализм и романтизм», «Жан-Жак Руссо», «Общественное движение в России», «Карамзин в Англии», «Идеи Руссо у Карамзина», «Идеализм Жуковского», «Белинский о Пушкине» («Борис Годунов», «Домик в Коломне»), «Идеи Руссо у Пушкина», «Преступление и наказание в Борисе Годунове» (последний опубликован П. Нерлером в кн. «“Сохрани мою речь...”: Мандельштамовский сборник» (М., 1991. С. 5–9). В тетради имеются пометки Вл.В. Гиппиуса. Согласно записи Мандельштама один из источников конспекта: *Гефдинг Г. Ж.Ж. Руссо и его философия*. СПб.: Ред. журн. «Образование» (1-е изд.: 1898; 2-е изд.: 1902?) [Мец 2011: 80].

Книгу Георга Гефдинга о Руссо не обсуждаем: она к нашей теме отношения не имеет. Существенно, что тексты тетради не доходят до Достоевского с его очевидным «Преступлением и наказанием». Впрочем, и программа училища Достоевского не включает. И поэтому именно слова «преступление и наказание» являются здесь ключевыми для решения вопроса о педагогической принадлежности данного текста, к чему мы вернемся.

Но сначала, поскольку речь идет о тексте редко цитирующемся и вместе с тем не привлекающем к себе внимания исследователей Мандельштама (ср. упоминание о нем – без обсуждения вопроса о его типе и статусе – в [Еськов 2015: 488–489]), приведем его здесь полностью.

Преступление и наказание в «Борисе Годунове»

I

По тому, как относится данное мировоззрение к проблеме преступления и наказания, – можно вскрыть его сущность. Это – проблема чисто нравственная, – а для любого мирозерцания наиболее характерно его отношение к вопросам человеческой

нравственности. Преступлением называется человеческое действие, противоречащее правилам нравственности. Наказание – есть нечто, постигающее преступника, – тесно связанное с чувством нашего удовлетворения. Должно ли преступление влечь за собой наказание? Высшая нравственность отвечает на этот вопрос отрицательно, в том смысле, что чувство удовлетворения, испытываемое нами от перспективы наказания, настолько же безнравственно, насколько и само преступление. Но относится это лишь к тем случаям, когда человек наказывает человека и делает это сознательно. С точки зрения позитивной, реалистической – не может быть иного наказания, как человеческое, ибо преступление преступно лишь с человеческой точки зрения.

Всякое положение, в которое попадает преступник, напоминающее наказание, но не являющееся в то же время результатом сознательного акта человеческой воли, рассматривается с этой точки зрения – как следствие случайного стечения обстоятельств; если же оно логически вытекает из преступления, то считается имеющим такое же отношение к преступлению, как обыкновенная причина к обыкновенному следствию. Но теология известного рода возводит в принцип этот последний частный случай и искусственно подводит под эту последнюю категорию все остальные возможные отношения. Наказание она представляет себе всегда – как следствие преступления, а не чего-либо иного, а на преступление смотрит как на причину, в которой неизменно заключается зародыш наказания. В подобном учении преступление всегда логически связано с наказанием через посредство Бога, абсолютной справедливости или другого высшего начала, которое само отстаивает свои права.

Эта точка зрения особенно противна и отталкивает всего сильнее тогда, когда ее берут под свою защиту поэт или художник. Поэтической формой, ярким художественным воспроизведением поэт оказывает обыкновенно идее возмездия, которую он хочет защитить, настоящую медвежью услугу. В художественном произведении – всего рельефнее выступают и лучше всего бросаются в глаза – узорность, неестественность, лживость и лицемерие теологической точки зрения.

II

Был ли Пушкин в своих взглядах свободен от теологии или нет, но как автор «Бориса Годунова», силой своего артистического чувства, он понял, насколько антихудожествен и антиреалистичен теологический взгляд на наказание.

Наказание в «Борисе Годунове», если несчастье, постигшее Годунова, можно вообще назвать наказанием, построено просто, легко и свободно; все совершается на земле, по земным законам, на основании естественной причинной связи явлений – без участия, без вмешательства Высшей Силы.

Все это Пушкин сделал как художник-реалист, и в этом – художественная ценность «Бориса Годунова».

Наказание, постигшее Годунова, складывается из двух совершенно самостоятельных процессов. Первый – происходит в душе Годунова и так или иначе отражается на его поведении; угрызения совести, раскаяние, страшные душевные муки отравляют существование Бориса, лишают его необходимого спокойствия, отнимают у него решимость, твердость, энергию и волю. Этот процесс исходит непосредственно из самого акта преступления, и только из него одного, но его еще недостаточно, он сам по себе еще не ведет к наказанию, т. е. к падению Годунова. Он дополняется другим процессом, который почти совершенно, даже вовсе не зависит от душевного состояния Бориса, хотя и стоит в некоторой чисто внешней связи с Борисовым преступлением. Это – появление Самозванца, его бегство, его успехи, его поход на Москву – заканчивающийся победой. Карамзин и Белинский, несмотря на всю противоположность своих взглядов, сходятся на том, что причины падения Бориса следует искать в нем самом, в его душевном состоянии, в свойствах его ума и характера. Карамзин находит разрешение вопроса: почему должен был пасть Годунов – в его нравственном падении перед самим собой, в терзаниях больной совести. Белинский считает, что Годунов не мог закрепить за собой престола, потому что не был гениален, а только талантлив, потому что не мог ничего противопоставить честолюбию соперников, – ни новой идеи, ни нового государствен-

ного принципа, а обаяние его личности было не настолько велико, чтобы масса привыкла видеть в этом выскочке законного царя. Падение Годунова было обусловлено не одним только его душевным состоянием, но поскольку это последнее влияло на судьбу Бориса, и Белинский, и Карамзин до известной степени правы. Не отсутствие гениальности погубило Годунова и не угрызения совести, но обе причины имелись налицо и оказали свое действие. Вся личность Годунова, весь он целиком, все свойства его характера в своей совокупности толкали Бориса к печальному концу, а не одна только больная совесть и не одно только отсутствие гениальности. К особенностям характера Годунова, на которые указал Белинский, следует еще прибавить – болезненное самолюбие, раздражительность, неумение владеть собой и заставить себя уважать. Но не будь Самозванца, все эти специфические черты духовного облика Бориса не привели бы его к роковому концу, не помешали бы ему, может быть, влачить еще много лет свое венценосное существование, пока он не забыл бы о своих старых грехах, а бояре не помирились бы с разумным и, в сущности, добрым царем. Что же способствовало успеху Лжецаревича? Без сомнения, перемена в настроении различных общественных слоев и, наконец, личность Самозванца.

Бояре с самого начала драмы относятся к Борису с явным, нескрываемым предубеждением. Вряд ли можно объяснить это отрицательное отношение нравственными мотивами. Бояре рисуются из «Бориса Годунова» не очень-то нравственными людьми, – измена, месть, предательство, тайное убийство, шпионство, ложь – вот атмосфера придворной жизни, с которой бояре, очевидно, вполне сроднились. Как на счастливого соперника своего смотрят бояре на Бориса, им нужно поэтому его унижить в собственных глазах и также в глазах народа, средств для этого много, – и, не убивай Годунов Димитрия, они нашли бы десяток других преступлений, которые не постыдились бы ему навязать. Обратимся теперь к народу.

Можно ли признать в пушкинском «народе» носителя справедливости, представителя высшей нравственности? Народ у Пушкина обрисован поверхностно, самыми общими штрихами. К избранию Годунова народ относится довольно бессознательно и пассивно, но тем не менее он хочет Годунова – нельзя сказать, чтобы кто-нибудь морочил его и навязывал ему Бориса, потому что иначе народ не мог бы отнестись к избранию царя, которое представляло для него чисто внешний интерес. Но вот появляется щепетильное отношение народа к злодеянию Бориса. Однако и не с такими злодеяниями на троне мирился, бывало, народ. Дело здесь отчасти в том, что Годунов выскочка, но еще больше – в каких-то силах, которые под конец изменили вовсе настроение народа и бросили его в объятия Самозванца. Эти силы – подлежат изучению историка, они находятся вне компетенции поэта. Поэт лишь «констатирует факт».

Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне: «вязать Борисова щенка!» – заставляет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа. Зато духовенство основывает свое отношение к Борису на чисто нравственных началах. И в то же время оно является единственным во всей драме представителем теологической точки зрения. Во всех событиях духовенство видит перст Божий, карающий несчастного царевича. Оно последовательно и не изменяет своему взгляду от начала (Пимен в келье) до конца (рассказ Патриарха). Наконец, личные свойства Лжедмитрия немало способствовали успеху. Он обладал удивительной силой влияния на людей, ловкостью, смелостью, доходящей до дерзости, и, наконец, несколько поверхностным, но все же блестящим умом. Из этого сочетания пестрых, разнородных элементов получается вполне художественная канва для драмы, где на фоне взаимодействия самых случайных разнородных сил трагически выделяются две личности – Бориса и Гришки Отрепьева.

Не преступление и не наказание составляют главный интерес «Годунова», а эти две личности, поставленные силой внешнего стечения обстоятельств в исключительно трагическое положение.

⟨1906⟩

[Мандельштам 1993–1994: 165–168].

Интересующий нас текст сохранился в тетради, как считается, конспектов Мандельштама. Однако для конспекта, который проверяет преподаватель, текст слишком волен в цитатах и вместе с тем в нем слишком легко обсуждаются трудные темы (в том числе и «преступление и наказание»), которых нет ни у Белинского, ни у Карамзина (по крайней мере в такой постановке). Но главное, здесь есть некоторые переходы от теме к теме, от писателя к писателю и т. д., которые позволяют предполагать, что либо такого рода лекцию или семинар провел для тенишевцев опытный преподаватель В.В. Гиппиус, либо его рассказы наложил на опыт собственного внепрограммного чтения сам Мандельштам. Кроме всего прочего, та концепция «преступления и наказания», которая содержится в тексте, с одной стороны, достаточно сложна и оригинальна, а с другой – изложена так, как будто перед нами некое сочинение на заданную тему, а не просто конспект. Оставляя вопрос о жанре текста Мандельштама на будущее, а вместе с тем не пытаясь разрешить проблему его дубиальности, попытаемся восстановить его концепцию.

Обратим внимание на выделенные нами фрагменты текста юного Мандельштама: они так или иначе откликаются на названных в данном тексте Белинского и Карамзина. Цитат из их сочинений в тексте нет, но они довольно подробно пересказываются. Поэтому представляется небесполезным привести здесь не столько текст Карамзина, сколько полемику с ним Белинского: тенишевец Мандельштам реагирует именно на нее.

В десятой статье пушкинского цикла Белинский пишет:

Но вот является Годунов, и, чем бы ни достиг он престола – злодейством ли, как в этом уверен Карамзин, или только смелым и гибким умом, без преступления, – во всяком случае он также не внес в русскую жизнь никакого нового элемента, и его возвышение, равно как и его падение, ничего не значили для будущих судеб русского народа; без Годунова все пошло бы так же точно, как и с Годуновым. У самозванца были разные политические замыслы, которые могли бы изменить ход нашей истории; но эти замыслы были не что иное, как удалые мечты человека решительного, пылкого, умного, но, что называется, без царя в голове, а потому они и кончились так, как следовало кончиться мечтам. Шуйский хотел из боярщины образовать аристократию; но как это желание было плодом не мысли, а трусости и низости, – оно и кончилось бедою для Шуйского и ровно ничем не кончилось для государства... Итак, вот <...> три лица, которые уже по необыкновенности употребленных ими способов для достижения верховной власти должны были бы внести в государственную жизнь новые основания и которые ровно ничего не внесли в нее и прошли в истории без следа, как будто бы их и не было...

[Белинский 7: 507–508].

Итак, Белинский все три способа «достичь высшей власти», независимо от их преступности или просто ловкости, признает исторически непродуктивными, если сама эта обретенная власть не используется для внедрения в жизнь государства чего-то такого, что соответствует его нуждам. Однако такое отношение к роли государя или властителя и есть в чистом виде «теология», так как «нет власти еще не тот Бога». Следовательно, если названные Белинским властители пали, получается, что все они самозванцы. А реальность власти проясняется и в теологии, и, в этом случае неизбежно, в телеологии.

Как мы помним, Белинский не был большим поклонником «Бориса Годунова», но в неудаче Пушкина, по его мнению, Пушкина виноват оказался Карамзин:

Итак, если в «Борисе Годунове» Пушкина почти нет никакого драматизма, – это вина не поэта, а истории, из которой он взял содержание для своей эпической драмы. Может быть, от этого он и ограничился только одною попыткою в этом роде.

А между тем Борис Годунов, может быть, больше, чем какое-нибудь другое лицо русской истории, годился бы – если не для драмы, то хоть для поэмы в драматической форме <...>, в которой такой поэт, как Пушкин, мог бы развернуть всю силу своего таланта и избежать тех огромных недостатков и в историческом, и в эстетическом отношении, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было <...> самостоятельно проникнуть в тайну личности Годунова и <...> разгадать тайну его исторического значения, не увлекаясь никаким авторитетом, никаким влиянием. Но Пушкин рабски во всем последовал Карамзину, – и из его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годунов его вышел мелодраматическим злодеем, которого мучит совесть и который в своем злодействе нашел себе кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя из нее сделать!.. [Белинский 7: 508].

Нетрудно видеть, что для Белинского власть царя, как тип власти сакральной и величностной, совершенно отделена от конкретной личности ее носителя. И поэтому проблема власти должна решаться в драме, а проблема личности в поэме!

Если же происходит сочетание теологической драмы о власти с поэмой о моральных мучениях царя-человека, то, согласно Белинскому, должно получиться нечто среднее – мелодрама.

И причины этого Белинский видит, как известно, в том, что сам Карамзин не столько историк-мыслитель, сколько литератор, однако же не гений, а поскольку к тому же его «История государства Российского» – труд литературный, то и преобразование его Пушкиным в историко-психологическую драму дает очень сомнительный результат.

Не будем специально останавливаться на том, что ирония Белинского относительно талантливости, но не гениальности Карамзина абсолютно параллельна рассуждениям критика о качествах личности исторического Бориса Годунова.

Мы могли бы еще долго рассуждать о проблемах власти и их осознании в русской литературе, однако нашей целью является анализ тенишевского сочинения Мандельштама, которое называется «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”», где незакавыченное название романа еще и не названного Достоевского заставляет прочесть давно знакомые строки Белинского уже в этом контексте, – контексте романа «нового Гоголя», пережившего своего критика.

Нам необходимо понять, почему совсем юный Мандельштам, писавший тогда стихи в манере Н.М. Минского или С.Г. Фруга 1880–1890-х гг., чему, в частности, и были посвящены наши работы, указанные выше, решил сопоставить в своем тексте Достоевского и Пушкина в столь непростой конструкции.

Разумеется, мы помним, что имеем дело со школьным сочинением, а потому допускаем, что тема его могла быть задана учителем. Однако в том, как она реализована (сколь бы значительным ни было влияние этого учителя на будущего поэта), неизбежно проявляется мироощущение ученика.

Итак, Белинский рассуждает:

Во времена просвещенные и у народов цивилизованных властолюбие является всегда в соединении с честолюбием, так что <...> трудно решить, которая из этих страстей господствующая в человеке, и властолюбие кажется только результатом честолюбия. Во времена варварские у народов необразованных властолюбие имеет другое значение, потому что соединяется не только с честолюбием, но еще с чувством самохранения: <...> там всякому вдвойне хочется быть первым, чтоб никого не бояться, но всех страшить. Но так как каждому из всех или многих невозможно быть первым, то право первого естественным ходом истории везде утвердилось потомственно в одном роде, на основании права в прошедшем или предания. Время осватило и утвердило это право за немногими родами. <...> Но когда царствующий род прекращается, после наследственного владычества в продолжение нескольких веков, и когда право высшей власти

захватывает человек, вчера бывший равным со всеми перед верховною властью, а сегодня долженствующий начать собою новую династию, – тогда <...> разнудывается у всех страсть властолюбия. Каждый думает: если он мог быть избран, почему же я не мог? Чем он лучше меня, и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбец силою и хитростию заставляет молчать всех и всё; страсти умолкают, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нет, в отношении приобретения верховной власти, <...> права законного наследия, – тому, чтоб заставить в себе видеть не похитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личного превосходства над всеми, на право гения. Только на условии этого права толпа согласится безусловно признать владычество человека, который в гражданском отношении еще вчера стоял наравне с нею. Было ли за Годуновым это право?

Нет!

И вот где разгадка его исторического значения и его исторической судьбы: он хотел играть роль гения, не будучи гением, – и зато пал трагически и увлек за собою падение своего рода [Белинский 7: 515–516].

Неизвестно, кому принадлежит идея такого сочинения, но, помня о «статейке» Раскольникова, написанной им как раз на эту тему, мы уже можем представить себе ход рассуждений Мандельштама, при том, повторим, что мы не знаем, что именно в них было навеяно его воспитателем. Мы не ставим себе целью изучать именно это воздействие, так как не располагаем на данный момент ничем кроме текста Мандельштама, а нужно бы было иметь три-четыре сочинения соучеников поэта на эту же (если она была дана учителем, а не придумана самим поэтом) тему либо, если это возможно, сверить конспекты одноклассников, если придерживаться этого жанрового определения. Однако у нас есть хотя бы названия других текстов в описанной тетради, поэтому возможно оценить и место данного текста среди них.

Вернемся к Белинскому и отметим, что выделенные нами места его статьи очевидным образом «перекликаются» со статьей Раскольникова, с его хрестоматийно известными рассуждениями о себе и Наполеоне, единице и миллионах.

Вывод Белинского таков:

У Годунова не было великого сердца, и потому он не мог не мучиться подозрениями, не бояться крамолы, не увлекаться личным мщением и <...> не сделаться тираном. Словом, он был только замечательный, а не великий человек, умный и талантливый администратор, но не гений.

Итак, верно понять Годунова исторически и поэтически – значит понять необходимость его падения равно в обоих случаях: виновен ли он был в смерти царевича, или невинен. А необходимость эта основана на том, что он не был гениальным человеком, тогда как его положение непременно требовало от него гениальности. <...>

Отчего же не понял этого Пушкин? Или недостало у него <...> проницательности, поэтического такта? Нет, оттого, что он увлекся авторитетом Карамзина и <...> покорился ему. Вообще, <...> чем больше понимал Пушкин тайну русского духа и русской жизни, тем больше иногда и заблуждался в этом отношении. Пушкин был слишком русский человек и потому не всегда верно судил обо всем русском: чтоб что-нибудь верно оценить рассудком, необходимо это что-нибудь отделить от себя и хладнокровно посмотреть на него, как на что-то чуждое себе, вне себя находящееся, – а Пушкин не всегда мог делать это потому именно, что все русское слишком срослось с ним. <...> Пушкин был человек предания гораздо больше, нежели как об этом еще и теперь думают. Пора его «стишков» скоро кончилась, потому что скоро понял он, что ему надо быть только художником и больше ничем, ибо такова его натура <...> и призвание его. Он начал с того, что написал эпиграмму на Карамзина, советуя ему лучше докончить «Илью Богатыря», нежели приниматься за историю России, а кончил тем, что одно из лучших своих произведений написал под влиянием этого историка и посвятил «драгоценной для Россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его

вдохновенный». Нельзя не согласиться, что есть что-то официальное и канцелярское в самом складе и языке этого посвящения, написанного по ломоносовской конструкции, с заветным «сей» [Белинский 7: 523–525].

Похоже, что откровенный антипушкинский пафос статьи Белинского о «Борисе Годунове» и вызвал ту замечательную реакцию юного Мандельштама, о которой мы сейчас говорим (о том, что это была именно его реакция, свидетельствует стиль «сочинения»: вряд ли взрослый преподаватель стал бы так по-юношески горячо, скрыто и, отчасти, сумбурно, защищать любимого поэта).

Теперь обратимся к размышлениям Раскольникова, продолжая разговор о власти, гении и Наполеоне:

Далее <...> я развиваю в моей статье, что все... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами, и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, – более или менее, разумеется <...>. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, <...> любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унижительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительно и многообразны; большею частью они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, – смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, – это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление [Достоевский 6: 199–200].

Не занимаясь сейчас вопросом о том, насколько именно взгляды Карамзина «в чистом виде» или в изложении Белинского отразились в анализируемом тексте, не можем не привести знаменитой цитаты из первого номера «Вестника Европы» за январь 1802 г.: «...Теперь тридцать миллионов повинуются законам и Гению одного человека... служат одной рукой для правления, и новый Цезарь, новый Кловис не страшен для новых Галлов...» [Карамзин 1802: 68]. Если теперь вспомнить о воспоминаниях брата Достоевского, назвавшего его «возросшим на Карамзине» [Достоевский 1930: 69], придется признать, что у Мандельштама были основания связать высказывания Раскольникова с позицией раннего Карамзина, еще не успевшего разочароваться в Наполеоне. Другое дело, что еще предстоит выявить источники Мандельштама: судя по учебной программе Тенишевского училища, специально этот период русской литературной истории не изучался, и уж тем более никаких сравнений позиций раннего и позднего Карамзина по отношению к Наполеону в этой программе предусмотрено не было.

Но теперь мы можем попытаться обнаружить источник двойственных антикарамзинских (причем направленных именно на раннего Карамзина) и антибелинских высказываний у тенишевца Мандельштама, и в сочетании с абсолютным

признанием Пушкина, как раз у автора «Преступления и наказания», однако не в самом романе, чье название в «сочинении», напомним, не закодировано.

У Достоевского обнаруживаются все ключевые слова текста Мандельштама: и «гений», причем с «прозорливым умом», оторванность от народа интеллигентного общества, «возвысившегося над народом», и, главное, в противовес Белинскому и Карамзину с их оценкой петровских реформ, оценка Пушкина, увидевшего, по мнению Достоевского, в итогах деятельности «вздернувшего Россию на дыбы» гения главную язву всей последующей русской истории, а вместе с тем не принятую безропотно народом «теологию» его правления.

Похоже, что Мандельштам адресует к первым пунктам введения к публикации Пушкинской речи Достоевского в «Дневнике писателя» 1880 г.:

1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой <...>) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили <...> множество подобных себе в нашей <...> литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские <...> и множество других, уже появлением своим засвидетельствовавшие о правде первоначально данной мысли Пушкиным. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую болезненную язву составившегося у нас после великой петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознаванием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо <...> дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной, ибо

2) он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретающейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в «Борисе Годунове», типы бытовые, как в «Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающих в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в «Истории Пугачевского бунта». Главное же, что надо особенно подчеркнуть, — это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа [Достоевский 26: 129–130].

Здесь и в последующих разделах введения к пушкинской речи с очевидностью прослеживаются противопоставление Достоевским всего внутреннего русского наносному европейскому, что у Карамзина (естественно, раннего), что у Белинского (естественно, позднего) связанного и с заведомо нерусским Наполеоном, и с чуждым русскому сознанию родственником Малюты Скуратова Годуновым.

Никакой гений, строящий свой успех на крови, не принимается поэтом, который сочувственно цитировал Есенина: «Не расстреливал несчастных по темницам...». Никакая кровавая теология гения не признается Мандельштамом. Если же учесть постоянный шекспировский мотив и у Белинского, и у Достоевского в спорах о Годунове и Наполеоне, то вероятность осмысления именно этого текста из «Дневника писателя» в юношеском сочинении чуткого к чужому слову даже тенишевца Мандельштама становится более и даже очень вероятной.

Но знал ли юноша Мандельштам все эти тонкости истории русской литературы и критики?

Как это ни странно, ответить на этот вопрос сегодня уже можно. Однако именно здесь и находится главная проблема. Ведь текст анализируемого нами сочинения о «Преступлении и наказании в “Борисе Годунове”» сохранился, как указывает А.Г. Мец, в домашней тетради Мандельштама в ряду других конспектов и / или сочинений, вызванных впечатлениями от прочитанного или услышанного. Эти тексты требуют изучения и публикации.

Приведем их названия в последовательности, указанной Мецом: «Сентиментализм и романтизм», «Жан-Жак Руссо», «Общественное движение в России», «Карамзин в Англии», «Идеи Руссо у Карамзина», «Идеализм Жуковского», «Белинский о Пушкине» («Борис Годунов», «Домик в Коломне»), «Идеи Руссо у Пушкина», «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”».

Нетрудно видеть, что именно название последнего текста оформлено наиболее концептуально.

Теперь вернемся к программе обучения в училище и выберем из нее темы с упоминанием Карамзина: «Курс XIII семестра [7-й класс, первое полугодие]. Общая характеристика романтического движения в европейских литературах (сентиментализм и романтизм) в связи с главными явлениями умственной и политической жизни. Карамзин. 1) Его умственное развитие и литературная деятельность в 90-х годах XVIII века (“Письма русского путешественника”, “Бедная Лиза”, лирика). 2) “История Государства Российского” с литературной и политической стороны. 3) Язык Карамзина и борьба “шишковцев”» [Мец 2011: 82].

Пушкин и Белинский в интересующей нас части: «Курс XIV семестра [7-й класс, второе полугодие] Пушкин. Национальное значение его гения; отношение русской критики от современности до наших дней. Биография и очерк литературной деятельности. Лирические стихотворения 20-х годов. (Послания к Чаадаеву, “Деревня”, антологические, “Узник”, “Наполеон”, “Песнь о вешем Олеге”, “19 октября 1825 г.”). Значение “Руслана и Людмилы”. Разбор “Кавказского пленника” и “Цыган” – в связи с идеями сентиментализма. Разбор “Евгения Онегина” с литературной и общественной стороны – в связи с вопросом о романтизме Пушкина. Отрывок из большой статьи Белинского о Пушкине, касающийся “Евгения Онегина”. Разбор “Бориса Годунова” в связи с вопросом о приемах “классической” и Шекспировской драмы и общий обзор других драм Пушкина». С примечанием: «При этом от учеников требуется самостоятельное знакомство с трагедиями Шекспира (“Король Лир”, “Юлий Цезарь”, “Гамлет”»» [Мец 2011: 82–83].

Выделяем специально единственное упоминание статьи Белинского из пушкинского цикла. Отметим еще специфическое место «Бориса Годунова»: он упоминается, как видим, лишь в контексте главных видов драмы.

Однако из всего списка для нашей темы лучше всего подходит стихотворение «Наполеон», которое стоит процитировать именно в связи с «теологией» и сменой «распростертого царя» на революционного владыку, ставшего царем (совершенно не исключены здесь и ассоциации с Годуновым):

Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал
И день великий, неизбежный –
Свободы яркий день вставал, –
Тогда в волненьи бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных

Ты человечество презрел
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой
Тебя пленило самовластье
Разочарованной красой
[Пушкин 3: 204].

Для тенишевца, увлеченного эсеровскими идеями, это стихотворение не могло быть совсем уже безразличным.

Не приводим здесь раздел из программы о Белинском: в нем нет статьи о «Борисе Годунове», а в программе предыдущего семестра упоминаются лишь его статьи о Лермонтове и Гоголе.

Разумеется, программа не всегда соответствует реальному преподаванию, однако приходится признать, что никаких оснований для того, чтобы признать своеобразный текст Мандельштама простым «конспектом», у нас нет.

К тому же в нашем распоряжении находится замечательный документ – речь Вл.В. Гиппиуса, републикованная А.Г. Мецем, «К вопросу о роли чтения в современном воспитании (Речь, произнесенная на годовичном акте Тенишевского училища)» [Мец 2011: 65–79]; впервые: [Гиппиус 1907]. Это очень осторожный текст, где о Достоевском и Раскольникове едва упоминается. Дело в том, что Гиппиус был противником радикализма в обучении школьников литературе, считая, что слишком большая литературность предельно переначитанных мальчиков и девочек ведет их к отрыву от реальной жизни, к «моделированию» ее по образцам литературных героев.

Поскольку же тетрадь Мандельштама содержит пометки Гиппиуса, нам представляется маловероятным, что Гиппиус мог рекомендовать ему для конспектирования какую-то сверхоригинальную статью, которая произвела на него сильное впечатление и в которой он тонко почувствовал все непростые подтексты, уверенно сохранил их в «конспекте». Не писал на таком языке и сам Гиппиус; тем более маловероятно, что он на нем преподавал. Следовательно, текст Мандельштама естественно признать лишь частично связанным с содержанием тенишевских занятий, и его изучение должно быть продолжено. В любом случае, этот достаточно проблемный текст, оставаясь еще очень далеким даже от поэтики раннего Мандельштама, является содержательным свидетельством его духовного и нравственного развития в то время, когда он куда лучше знал Карамзина, Пушкина и Белинского, чем Достоевского, к пониманию которого он тем не менее начинал интуитивно продвигаться.

ЛИТЕРАТУРА

Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.

Гиппиус Вл. К вопросу о роли чтения в современном воспитании (Речь, произнесенная на годовичном акте Тенишевского училища) // Русская школа. 1907. № 11. С. 19–34.

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.

[*Достоевский А.М.*] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского / Ред. и вступ. ст. А.А. Достоевского. Л.: Изд. писателей в Ленинграде, 1930. 426 с.

Еськова Н. Мандельштам и Белинский // Корни, побег, плоды... : Мандельштамовские дни в Варшаве: В 2 ч. Ч. 2. М.: РГГУ, 2015. 620 с.

Карамзин Н.М. Всеобщее обозрение // Вестник Европы. 1802. № 1. С. 66–84.

Кацис Л. К поэтике О. Мандельштама «тенишевского» периода: «Тянется лесом дороженька пыльная» // Сохрани мою речь. Мандельштамовский сборник. Вып. 5/2. М.: РГГУ, 2011. С. 664–669.

Кацис Л. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М., 2002. 600 с.

Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993–1994.

Мандельштам О. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Приложение. Летопись жизни и творчества. М.: Прогресс-Плеяда, 2014.

Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1937–1959.

Фролов Д.В. О ранних стихах Осипа Мандельштама. М.: Языки славянских культур, 2009. 312 с.

REFERENCES

Belinsky V. The Complete Works: In 13 vols. Moscow. 1953–1959.

Gippius V. Towards the Problem of the Role of Reading in the Contemporary Pedagogics (A Speech Read at the Year Graduate Act of the Tenishev School). *Russkaya Shkola*. 1907. No 11, pp. 19–34.

Dostoevsky F. The Complete Works: In 30 vols. Leningrad. 1972–1990.

[Dostoevsky A.M.] Memoirs by Andrey Mikhailovich Dostoevsky / Ed. and introd. by A.A. Dostoevsky. Leningrad. 1930. 426 p.

Es'kova N. Mandelstam and Belinsky. In: Roots, Shoots, Fruits... Mandelstam's Days in Warsaw 2011: In 2 parts. Part 2. Moscow. 2015. 620 p.

Karamzin N.M. Universal Review. *Vestnic Evropy*. 1802. No 1, pp. 66–84.

Katsis L. (2000) Osip Mandelstam: The Musk of Judaism. Moscow. 600 p.

Katsis L. On O. Mandelstam Poetics of the “Tenishev” Period: “Forest stretches the dusty road...”. In: Mandelstam Collection. Vol. 5/2. Moscow. 2011. 560 p.

Mandelstam O. The Collected Works: In 4 vols. Moscow. 1993–1994.

Mandelstam O. The Complete Works and Letters: In 3 vols. Supplement: Osip Mandelstam: Chronicle of Life and Work. Moscow. 2014. 570 p.

Pushkin A. The Complete Works and Letters: In 17 vols. Moscow; Leningrad. 1937–1959.

Frolov D. (2009) On the Early Verses by Osip Mandelstam. Moscow. 312 p.

Сведения об авторе:
Леонид Фридович Кацис,
докт. филол. наук
профессор
заведующий учебно-научной лабораторией мандельштамоведения ИФИ РГГУ.

Leonid F. Katsis,
Doctor of Philology
Professor
Russian State University for the Humanities,
Head of the Laboratory of Mandelstam Studies Institute of Philology and History
batya-94@mail.ru

**ON O. MANDELSHTAM'S POLEMICS WITH KARAMZIN,
DOSTOEVSKY AND BELINSKY IN HIS SCHOOL COMPOSITION
“CRIME AND PUNISHMENT IN ‘BORIS GODUNOV’ ”**